КОНСТАНТИН ГУРКИН



ТИХО ПОНИМАНИЕ

Жизнь прожить — не поле перейти.
Иной раз только оглянувшись понимаешь,
как мало знал о тех, кто шёл рядом.

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

РОМАН НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Константин Гуркин
"Тихо. Понимание."

https://litres.ru/74809309
SelfPub; 2026

Аннотация

Из серии «Роман не для всех».

Тамаре Ивановне 66 лет. Тридцать шесть лет она сшивала книжные листы в подмосковной типографии, а последние двенадцать растит внуков: их мать, её младшая дочь Рита, умерла в двадцать девять.

Однажды старший внук просит денег и задаёт два вопроса, на которые у бабушки нет ответа: какой была его мать и кто его отец. Тамара снимает с антресолей коробку и начинает собирать дочь заново — по табелю за четвёртый класс, фотографиям без подписей, рассказам соседок и бывшего зятя. Чужие воспоминания не сходятся с её собственными, а её собственные — с тем, что было.

Старшую дочь, с больными глазами, Тамара десять лет возила по врачам. Младшая считалась здоровой — и этим словом объяснялось всё: доставшийся от сестры ранец, школа, где никто не встал на её защиту, уход из дома в пятнадцать.

Рядом с голосом матери звучит голос самой Риты — то, чего она при жизни не сказала никому. Тамара ищет место, где всё ещё можно было повернуть. Таких мест оказывается сто.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 6
ГЛАВА ПЕРВАЯ 6
ГЛАВА ВТОРАЯ 23
Конец ознакомительного фрагмента. 27


Константин Гуркин
ТИХО
ПОНИМАНИЕ
Роман не для всех
Жизнь прожить — не поле перейти.
Иной раз только оглянувшись понимаешь,
как мало знал о тех, кто шёл рядом.

Константин Гуркин
"Тихо. Понимание."

Жизнь прожить — не поле перейти.
Иной раз только оглянувшись понимаешь,
как мало знал о тех, кто шёл рядом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КТО СПРАШИВАЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
НЕ ЗА ПРАВДОЙ

Артём приходил ко мне в воскресенье, в половине одиннадцатого, — в тот час, когда в доме уже всё выключено и постелено, а порядочные родственники не приходят вовсе.

В подъезде седьмой месяц шёл ремонт. Управляющая компания начала его в апреле и обещала закончить к маю. С тех пор на площадке между вторым и третьим стояли два ведра с засохшей краской, лежал скатанный рулон плёнки и доска, которую за всё лето никто ни разу не тронул. Стены успели выкрасить до половины: снизу зелёным, выше оста-

лось старое, в подтёках, и граница между новым и старым шла ровно на высоте вытянутой руки — там, где маляру надоело. Пахло извёсткой и сыростью. Лампочку на втором вывернули в первый же день и обратно не вкрутили.

На первом этаже висело объявление: «Уважаемые жильцы! В подъезде проводятся ремонтные работы. Приносим извинения за временные неудобства». Ни числа, ни срока, ни фамилии. Я тридцать шесть лет складывала, подбирала и сшивала чужие бумаги и научилась читать их правильно: смотреть надо не на то, что написано, а на то, чего не написали. Слово «временные» в таких бумагах означает прямо обратное. Жильцы поворчали месяц и перестали. К чему привык, то уже не неудобство, а просто твой подъезд.

Я узнала его по шагам. В детстве он поднимался так же: наступал на каждую ступеньку всей подошвой, будто лестница была перед ним в чём-то виновата. Между вторым и третьим шаги сбились — обошёл вёдра — и снова пошли ровно.

Звонок. Пауза. И третий раз, длинно, с нажимом.

— Иду, — крикнула я. — Не умерла ещё.

Я уже расстелила и уже сняла халат. Пришлось надевать обратно.

— Я слышу.

Голос был Ритин. Не совсем, конечно: мужской, прокуренный, тяжёлый снизу. Но недовольство в нём поднималось точно так же — сначала лениво, вполсилы, а потом сразу до потолка, без ступеней. Кровь не вода. Её не разбавишь ни

воспитанием, ни чужой фамилией, ни хорошими намерениями. Она годами лежит тихо, а потом человек скажет два слова — и в дверях стоит тот, кого давно нет.

Я открыла.

Артём стоял на площадке в расстёгнутой куртке, из-под которой торчал ворот свитера, растянутый и подшитый не его рукой. Волосы были мокрые, хотя дождя не было. Значит, пригладил водой в подъезде, прежде чем звонить. Так делают люди, которые хотят выглядеть прилично, но не настолько, чтобы прийти приличными.

— Чего не позвонил?

— Телефон сел.

— Он у тебя садится ровно тогда, когда кончаются деньги.

— Баб Тома, я ещё ничего не попросил.

— Зато я тебя давно знаю.

Он усмехнулся и прошёл мимо меня в прихожую, задев плечом вешалку. От него пахло сигаретами, холодной улицей и дешёвой мятной жвачкой. Этот запах я помнила хорошо. Мужчины в нашей семье всю жизнь пытались перебить одно другим и ни разу не угадали, что именно надо перебивать.

Никите тогда было три, Егору два.

Артёму двенадцать. Среднему семь.

Средний, Руслан, прожил у нас полгода, пока шли бумаги. А потом за ним приехал Андрей и забрал.

Так что первые полгода их было четверо.

Вот с этими цифрами я и живу двенадцать лет, и они у меня в голове как в ведомости: кому сколько было, когда мать умерла.

Артёму было двадцать четыре. У него имелись дочь семи лет, которая жила с матерью в области, неоплаченные штрафы и редкая способность считать временным всё, что тянулось годами. Отцом он сделался в семнадцать — на год старше, чем была его мать, когда родила его. Работал он то на складе, то в шиномонтаже, то с приятелем ставил людям двери. О каждой новой работе он говорил как о начале новой жизни. Через два месяца жизнь заканчивалась по вине начальника, напарника, заказчика или государства.

Сам Артём в списке виноватых не значился ни разу.

Ботинки он снял не развязывая. Один поставил на коврик, второй бросил посреди коридора, носком в стену. Я нагнулась.

— Да я сам.

— Вижу, как ты сам.

Он переставил ботинок к первому. Получилось криво, но я промолчала: в старости приходится выбирать, на что тратить силы, и если поправлять за взрослыми мужчинами обувь, до главного разговора можно не дожить.

Когда-то у этой двери стояли в ряд маленькие пары. Я их выстраивала по росту, чтобы утром не путались, и всё равно путались. Сапожки после сапожек, ботинки после ботинок; младшему доставалось то, из чего вырос средний, а среднему

— то, в чём до него ходили двое. Одну пару я не выбрасывала дольше всех — ту, за которой приехал отец.

Из дальней комнаты работал телевизор — негромко, но так, что слышно каждое слово. Там сидели младшие. Пятнадцать и четырнадцать, возраст, в котором дом нужен, чтобы в нём поесть и зарядить телефон.

— Пацаны дома?

— А где им быть.

— Чего не выходят.

— К тебе — не выходят.

На кухне Артём открыл холодильник, не спрашивая.

— Поесть есть?

— У тебя дома холодильник отменили?

— Я не из дома.

— А откуда?

— Баб Тома…

— Понятно. Оттуда, откуда не рассказывают.

Я достала кастрюлю с картошкой и сковороду с двумя котлетами. Одну собиралась оставить себе на завтра, но положила обе — рука сама. Пока грелось, он сидел у окна и перебирал квитанции, лежавшие на краю стола, хмурясь так, будто собирался проверить, правильно ли я живу.

— Опять за отопление подняли?

— Подняли.

— Совсем охренели.

— Они могут. У них работа такая.

Я эти бумажки читаю иначе, чем он. Такие у нас шли тысячами — платёжки, бланки, извещения, всё на самой дешёвой бумаге, которая пылит и желтеет за год. Моё дело было сложить, подобрать по порядку, прошить и обрезать так, чтобы стопа стояла ровно. Между делом шло и другое: грамоты, плакаты к праздникам, школьные тетради. Тетради я сшивала своими руками, по двенадцать листов, и на обложке у них было напечатано «Всё лучшее — детям». Тираж потом дважды допечатывали, потому что в области кончились.

Артём засмеялся чему-то своему, и на секунду за столом оказался не взрослый мужик с долгами, а мальчишка лет десяти, худой, лопоухий, с вечно разбитыми коленями. Тот мог стащить у соседа отвёртку, соврать мне в глаза не моргнув, а через час принести с улицы замёрзшего котёнка и всю ночь греть его под рубашкой, чтобы я не заметила. Я долго решала, хороший он или плохой, пока не поняла, что дети не обязаны облегчать нам работу и раскладываться на две аккуратные стопки.

Взрослые, впрочем, тоже.

Ел он быстро, разрезая котлету ребром вилки. Обжёгся, выругался.

— При дочери так же разговариваешь?

— Она в области.

— А съездить?

— Не начинай.

— Я ещё не начинала.

Он отложил вилку и посмотрел на меня. Глаза серые, Ритины. И когда злился, один угол рта поднимался раньше другого — тоже её. Оля кривила губы иначе, осторожно, почти незаметно, будто даже презрение боялась показать неправильно.

— Мне тридцать тысяч нужны, — сказал Артём.

Вот и пришли туда, куда шли.

— На что?

— До пятницы.

— Я спросила: на что.

— Человеку должен.

— Какому человеку?

— Нормальному.

— Нормальные люди по воскресеньям к старухам за тридцатью тысячами не посылают.

Он взял кружку, подул на чай, хотя чай давно остыл.

— Я сам пришёл.

— Это меня и пугает.

— Отдам.

— Когда?

— Как за двери рассчитаются. Серый сказал, на той неделе закроют.

— Те самые двери, которыми вы с февраля занимаетесь?

— Не с февраля.

— Хорошо. С марта. Деньги от этого ближе?

Он шумно выдохнул и отвернулся к окну. В тёмном стекле

отражалась кухня: буфет, который мы с Виктором брали ещё по записи, лампа под выгоревшим абажуром, его широкая спина.

Когда-то за этим столом сидели четверо. Потом трое — за одним приехал отец, законный, с бумагами, и увёз его в жизнь, где всё было по-человечески. Я и спорить не стала. Только мальчик с тех пор здесь ни разу не был, и телефона его я не знаю.

Был ещё пятый. Он до стола не дожил.

— Нет у меня тридцати тысяч, — сказала я.

Это была неправда. Деньги лежали — я откладывала на зубы, которые пока ещё можно спасти, и на похороны, которые спасать будет уже поздно. Старики любят говорить, что им ничего не нужно. Обычно это значит, что нужное слишком дорого.

— У тебя всегда есть, — сказал Артём.

— Потому и есть, что не раздаю всякому, кто не может объяснить, куда дел прежние.

— Я не всякий.

— Именно. Чужому я бы дверь не открыла.

Он посмотрел исподлобья.

— Значит, не дашь.

— Не дам, пока не скажешь правду.

— Тебе-то зачем?

— Деньги мои.

— Всё у тебя твоё. Деньги твои. Квартира твоя. Правда

тоже твоя.

Внутри что-то остановилось. Не сердце — сердце у меня, слава богу, пока не собиралось. Остановилась привычная работа, которой я занималась много лет подряд: быстро подобрать ответ, отбиться, поставить человека на место и не пустить туда, где болит.

Артём увидел, что попал.

— Вы все так жили, — сказал он. — Всё прятали. Всё решали, чего детям знать не положено. Мне не положено, кто мой отец. Пацанам не положено, почему у каждого своя фамилия. Про мать — либо хорошо, либо молчать. А двор, между прочим, не молчал.

— Двор никогда не молчит. У него других обязанностей нет.

— Вот и я о том. Я от чужих людей про неё знаю больше, чем от родной бабки.

— Двор знает не больше. Двор рассказывает громче.

— А ты тихо врёшь?

Сказал он это спокойно. Закричал бы — я бы тоже закричала, кричать я умею, этому меня жизнь выучила раньше всего остального. Но он сидел, положив ладони на стол, и ждал.

Руки у него были Ритины. Не формой — у неё пальцы были тоньше и всегда с заусенцами. Манерой держать их открыто, ладонями вниз, будто человек заранее показывает, что ничего не прячет. Рита так делала всегда. Особенно ко-

гда врала.

— Ты деньги на что просишь? — спросила я.

— При чём тут сейчас деньги.

— При том, что ты за ними пришёл.

— Может, уже не за ними.

— Хоть себе-то не ври.

Он встал, подошёл к подоконнику и взял мою пачку. Я курю две в день, иногда три — если звонит Оля. Артём вытащил сигарету и покрутил в пальцах.

— Здесь не кури.

— Помню.

Сигарету он всё равно опустил в карман. Я заметила и не сказала. Человек остаётся ребёнком не тогда, когда просит у бабки денег, а когда думает, будто бабка не видит, как он тащит у неё сигарету.

— Меня мать любила? — спросил он.

За окном зажёгся фонарь: сначала мигнул, потом встал ровно. На стекле проступили пятна, которых днём я не замечаю.

— Любила.

— Удобно. Померла — теперь можно что угодно говорить.

— Она тебя любила, когда была жива.

— Тогда почему бросала у тебя и пропадала?

— Потому что любовь не делает человека умным.

— А что делает?

— Ничего. Иногда любовь вообще ничего не делает. Сидит внутри и смотрит, как человек губит всё, до чего дотянется.

Он сел обратно.

— Хорошая любовь.

— Какая была.

— А ты её любила?

Этого вопроса я ждала много лет. Не каждый день, конечно, — нельзя прожить жизнь, каждое утро ожидая суда. Надо ходить на смену, варить суп, стоять в очередях, доставать лекарства, стирать детские колготки, ругаться с сантехником. Вина отлично уживается с хозяйством. Пока трёшь ванну, она сидит тихо. Пока бежишь за справкой, уступает дорогу. А потом в воскресенье приходит внук, съедает обе котлеты и спрашивает то, на что ты сама себе не ответила.

— Любила, — сказала я.

— Олю больше?

— По-разному.

— Это значит — да.

— Это значит, что Оле я была нужнее.

— А мать решила, что тебе не нужна.

Я хотела сказать, что четырнадцатилетние девочки много чего решают неправильно. Что Рита сама выбирала, с кем оставаться и когда не возвращаться. Что я работала в две смены, а после смены ехала через весь город в областную, и там мне говорили: подождите, мамаша, может, перерастёт;

делайте упражнения; приходите через полгода; мест нет; специалист в отпуске; вы же понимаете, время сейчас какое. Что зарплату задерживали по четыре месяца, а начальник наш, Аркадий Борисыч, собирал нас в цеху и объяснял, что мы должны быть благодарны за сохранённые рабочие места. Что Виктор работал, уставал, выпивал и считал своё участие в семейной беде доказанным тем, что он не ушёл.

Всё это было правдой. И всё это звучало как оправдание.

— Я думала, с Ритой всё будет хорошо, — сказала я.

Первой это сказала не я. Это сказала Манюха, у нас в комнате, где обедали, над остывшим чаем, по-доброму, желая мне облегчения: Ольку лечи, а Ритка здоровая, с ней всё будет в порядке. И я согласилась. Не поспорила, не задумалась — согласилась с облегчением, потому что мне нужно было, чтобы кто-то разрешил не думать хотя бы об одной из дочерей.

Артёму я этого не сказала.

— Очень умно, — усмехнулся он.

— Сейчас — да. Сейчас я и сама вижу.

— А тогда?

— А тогда у меня была одна дочь, которую надо было лечить, и вторая, которая бегала быстрее всех во дворе, не болела и умела сама разогреть себе еду. Мне казалось, этого достаточно.

— Ей сколько было?

— Когда началось — четыре.

Он посмотрел на меня так, будто не расслышал.

— Четыре года?

— Четыре. Оле семь. Мы её в первый класс собирали.

— И что случилось?

— Ничего.

— В смысле?

— В прямом. Ничего такого, что можно записать в протокол, в медицинскую карту или в школьный журнал. Никто не умер, никто не пропал. Просто одной девочке купили новое платье, а другой сказали, что её время ещё придёт.

— И не пришло?

— Пришло. Только не то.

Артём молчал. Деньги он не забыл — такие, как он, не забывают, зачем пришли. Но теперь между ним и тридцатью тысячами сидела Рита.

Мёртвые умеют занимать много места.

— Ты хочешь сказать, всё из-за платья?

— Нет. Я хочу сказать, что поезд не пропадает сразу за поворотом. Сначала он стоит перед тобой. Потом трогается — медленно, так что кажется: захочу и догоню. Ты даже идёшь рядом и сама себе объясняешь, что ещё успеешь. А когда бежать становится по-настоящему нужно, остаётся только достать ладонью до последнего вагона.

— Опять красиво говоришь.

— Я тридцать шесть лет в типографии отстояла. Какая-то польза должна была остаться.

— А по-простому?

— По-простому — я опоздала.

Он опустил глаза. Несколько секунд мы слушали, как на плите потрескивает, остывая, чайник.

— А она? — спросил Артём. — Она сама никуда не опоздала?

— Опоздала.

— Значит, виновата?

— И виновата тоже.

Он поднял голову. Этого он не ждал.

Думал, наверное, что сейчас я примусь делать из Риты святую. С покойниками часто так и поступают: отмывают добела, наряжают в лучшие слова и запрещают вспоминать, какими они были живыми. А моя дочь умела лгать, брать чужое, предавать, унижать тех, кто слабее, и цепляться за тех, кто унижал её. Она путала свободу с отсутствием границ, любовь — с мужским присутствием в доме, семью — с человеком, который пока не ушёл. Бывала жестокой. Бывала невыносимой. Не раз сама открывала беде дверь, а мы стояли рядом и кричали, чтобы не смела.

Но сначала ей было четыре года.

— Расскажи, — сказал Артём.

— Что рассказать?

— Как было.

Я открыла рот и не нашла, с чего начинать. Вот это меня саму удивило. Я двенадцать лет это в себе носила, я про это

думала каждый день, у меня всё было на местах — а как дошло до слов, оказалось, что слов нет.

Я сказала:

— С чего начинать-то?

— С начала.

— А начало где?

Он посмотрел на меня как на дуру.

— Ну когда она… ну вот когда всё пошло не так.

— Ей было четыре года.

— Чего?

— Ничего.

Он ещё посидел минут пятнадцать. И всё это время спрашивал.

Он ведь пришёл не с пустого места. У него своё в голове было, и не от меня — от чужих людей, за столько лет наслушался.

— А Вадим этот кто был?

— Откуда ты про него знаешь?

— Да все знают.

— Кто все?

— Ну люди говорили.

И дальше в том же роде: а тот, который её потом из дому не выпускал, — почему вы не вмешались? А почему её в четырнадцать никуда не забрали, куда органы смотрели? А правда, что она из дому сама ушла?

Я на всё отвечала одно: подожди.

Он говорил: чего ждать-то, я спрашиваю. Я говорила: подожди, я так не могу.

Потому что он спрашивал с конца. У него в голове уже лежала готовая история, чужая, дворовая, из огрызков, — и он от меня хотел, чтоб я в ней подтвердила или опровергла по пунктам.

А я не могла ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что моя история начиналась совсем не там.

Потом он психанул. Сказал: ясно, разговора не будет; сказал, что так и знал; сказал ещё что-то, чего я повторять не стану, потому что он это сказал в дверях и, я думаю, уже на лестнице пожалел.

В дверях кухни всё это время стоял младший — босиком, с телефоном в руке, наушник в одном ухе. Сколько он простоял, я не знала.

Артём его толкнул плечом, проходя. Не нарочно, а как толкают, когда торопятся.

Пакет с тумбочки он взял. Молча.

Дверь хлопнула, и стало тихо.

Егор постоял ещё немного и ушёл к себе. Я вымыла две чашки и сковородку, вытерла стол, погасила свет и легла.

И не заснула.

Лежала и думала — не про Артёма, чёрт с ним, придёт ещё. Я думала вот о чём: он ведь у меня спросил, а я не ответила. И не потому, что не хотела, а потому, что не сумела.

Двадцать лет всё это во мне лежало сложенное, как в шка-

фу, который не открывают. Я и открывать-то его не собиралась — я была уверена, что не придётся, что вынесут меня, а шкаф так и останется закрытым.

А он взял и открыл. Одним вопросом. И оттуда всё повалилось, и я лежала до четырёх часов и разбирала — что откуда, что за чем, где начало.

Начала я с того утра, когда Оле было семь, Рите четыре, а я ещё верила, что беду видно по лицу.

Дошла до ранца и заснула, кажется, в пятом часу. А утром встала как обычно, собрала Егора, сходила в магазин — и только к обеду обнаружила, что вечернюю таблетку так и не выпила: она лежала в блюдце, где я её с вечера оставила.

За двенадцать лет я их не пропускала ни разу.

ГЛАВА ВТОРАЯ
НАДО ЛИ

А позавчера она мне приснилась.

Через день после того разговора, в ночь на среду.

Первый раз за двенадцать лет.

Я это точно знаю, потому что все двенадцать лет ждала и не дождалась. Люди рассказывают: снятся. У Манюхи муж снился на девятый день и потом ещё. У соседки мать снилась. А мне — нет.

Я даже думала, что это со мной что-то не так.

Снилось коротко и без всего. Не кухня, не улица, не квартира — вообще ничего вокруг, я потом не могла вспомнить, где мы были, потому что там негде было быть.

Она стояла напротив.

Взрослая. В чём-то тёмном. Волосы забраны. И молчала.

Я стала с ней говорить. Не помню, что говорила, — помню, что говорила много, торопливо, как говорят, когда времени мало: и про мальчишек, и про то, что Артём приходил, и что я не знаю, с чего начинать.

Она слушала и не отвечала.

Я подошла ближе и спросила прямо: ты что молчишь-то? И она посмотрела на меня — не сердито, не обиженно, никак, — и не ответила.

Тут я и проснулась.

Было около шести, вставать всё равно. В комнате стоял такой воздух, будто кто-то только что курил, — я даже форточку открыла, хотя у нас никто не курит, кроме меня на кухне.

Я села на кровати и поняла, что у меня трясутся руки. Не сильно, а вот как бывает, когда с лестницы оступишься.

Потом пошла на кухню, поставила чайник и стояла над ним, пока он не закипел, и всё это время думала одно и то же: почему она молчала.

Я ведь двенадцать лет ждала, чтобы она приснилась. А она пришла и не сказала ни слова.

А вчера я пошла к Манюхе.

Идти к ней недолго, через дорогу, и я по дороге слышала: как у кого-то за окном идёт телевизор, как на площадке кричат мальчишки и как у гаражей кто-то стучит железом по железу.

Пошла не за этим — то есть я себе сказала, что не за этим. Она просила помочь перебрать лук: у неё в кладовке лежало полмешка, и половина начала мокнуть, а одной ей это на два дня.

Живёт она в той самой квартире, которую ей когда-то оставила свекровь. От меня — перейти дорогу и во двор напротив. Минут пять, если не торопиться.

Сорок с лишним лет через дорогу.

Мы сели на кухне, поставили между собой таз и стали пе-

ребирать.

Хорошее занятие, если надо разговаривать. Руки заняты, глаза заняты, в лицо друг другу смотреть не обязательно.

Сначала говорили про её колено, потом про то, что за газ опять подняли, потом про Оксанкиного мужа, который затеял менять машину и, по мнению Манюхи, дурак.

Потом я сказала:

— Артём приходил.

— Денег?

— Денег.

— Дала?

— Нет.

— И правильно.

Она отложила луковицу, взяла другую.

— Он спросил про мать.

Манюха на меня посмотрела.

— В смысле спросил?

— В прямом. Расскажи, говорит, как было.

— А ты?

— А я не смогла.

Я это сказала первый раз вслух и сама услышала, как это звучит.

— Мань, я рот открыла — и не знаю, с чего начинать. Двадцать лет думала, а сказать не могу.

Манюха молчала и перебирала.

Потом сказала:

— И не надо.

Дальше она говорила минут десять, и говорила, я думаю, искренне.

Что нечего ворошить. Что мальчишкам жить дальше и им это ни к чему. Что Артём взрослый мужик, у него своя голова и своя дочь, и если он до тридцати не разобрался, то и не разберётся, а ты ему только настроение испортишь.

Что я себе сердце надорву. Вот это она повторила три раза: сердце надорвёшь, Том.

И под конец сказала:

— И потом. Ты чего им расскажешь-то?

— Как было.

— А как было? — говорит Манюха. — Ты сама-то знаешь, как было?

И тут она стала мне рассказывать, как было.

Я слушала и перебирала лук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.